БИОГРАФИИ /БЕЗ/ ГРАНИЦ РОМАН





Дмитрий Вересов



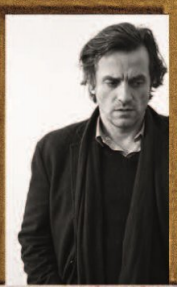




Третья тетрадь







#Литературный детектив
#Ф. М. Достоевский
#Аполлинария Суслова

Биографии без границ

Дмитрий Вересов

Третья тетрадь. Роман-отражение

«Издательство АСТ»
2026

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)

Вересов Д.

Третья тетрадь. Роман-отражение / Д. Вересов — «Издательство АСТ», 2026 — (Биографии без границ)

ISBN 978-5-17-192878-0

Привычное течение жизни петербургского антиквара Даниила Даха нарушено утренним телефонным звонком. Некто предлагает ему приобрести третью, неизвестную биографам Достоевского тетрадь с записками Аполлинарии Сусловой, роковой любовницы писателя. Явившись в назначенное место, Дах не застает там владельца таинственной тетради... но встречает ту, которая непостижимым образом напоминает Суслову. Что это — зощренный розыгрыш или мистическое совпадение? В поисках ответов антиквар и его загадочная спутница повторяют маршруты и мучительные отношения Достоевского и Сусловой... В итоге желанная тетрадь оказывается в распоряжении Даха. Но… «Бесстрастное наблюдение и анализ взаимоотношений гения русской словесности и его возлюбленной, обвиваемое стремительной спиралью событий современного литературного детектива». Т. Зазорина, «Российская газета»

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)

ISBN 978-5-17-192878-0

© Вересов Д., 2026
© Издательство АСТ, 2026

Содержание

Пролог 6
Глава 1. Миллионная улица 11
Глава 2. Стрелка Елагина острова 15
Глава 3. Центральный парк культуры и отдыха 21
Конец ознакомительного фрагмента. 25

Дмитрий Вересов
Третья тетрадь
Роман-отражение

© Вересов Д., текст, 2026
© ООО «Издательство АСТ», 2026

* * *

…ибо обманутым сердцем можно сильнее желать – но невозможно любить.
Катулл

Пролог

Позднее осеннее солнце еще только поднималось над лениво вздыхающим морем, и его слабый младенческий свет выхватывал из предутреннего тумана лишь самое яркое и насыщенное: зеркальные отблески, густо-лиловые пятна и красноватые камешки на серо-серебристой стене. И эта красная россыпь камешков неожиданно освежала стену, словно цветущие маки – серые камни Херсонеса. С каждой секундой они все более наливались живым теплом, и становилось видно, что это ножки и клювы птиц, женские соски и кончики разомлевших пальцев. Спустя еще какое-то время вспыхнули розоватые гальки постамента, мраморного лутерия[1], птичьих крыльев и женских тел, потом полилась и холодная светло-зеленоватая вода. И, наконец, густо засиял темно-синий, почти черный фон.

Наконец стали отчетливо видны и все прочие, самые мельчайшие детали мозаики. Округлые нежные части женских тел были выложены окатанным круглым галечником, ребристую ножку лутерия создавала продолговатая галька, положенная на торец, и в ней мерцали тонкие свинцовые прокладки силуэтов. Светлые камешки бликовали, создавая полную иллюзию влажности еще не высохшего тела…

И точно так же влажно блестели глаза старухи, сидевшей напротив этой древней мозаики и казавшейся такой же частью древнего понтийского, давно уже вымершего города. Черное платье старого темного шелка делало ее почти неотличимой от теней, то тут, то там бросаемых разбитыми колоннами. Но вот старуха с тяжелым вздохом, явно преодолевая боль в ногах и спине, поднялась. Она оказалась высокой и, несмотря на всю пышность юбок, стройной. Взгляд ее поражал какой-то невероятной надменностью. Сделав несколько шагов, старуха остановилась и, судорожно сжимая в костлявых пальцах нелепый потертый ридикюль, снова с жадностью впилась взглядом в мозаику.

Теперь, при свете уже окончательно поднявшегося солнца, было видно, что перед ней на стене, около умывального таза – лутерия, изображены две женщины, голубь и еще какая-то крупная птица, похожая на гуся. Женщина слева, вероятно, только что закончила мыться и пленительным извечным жестом поднимала руки, отжимая свои густые, тяжело ниспадающие волосы. Вся ее фигура дышала негой и томностью, но сверкавшие глаза старухи были устремлены совсем не на эту древнюю богиню. Она смотрела на женщину справа, отличавшуюся от левой всем своим существом. Та стояла чуть позади первой, будто невидимая ею, горделиво подбоченившись правой рукой, а пальцами левой опираясь на постамент. Но несмотря на то что эта женщина, в отличие от первой, была одета, небрежно брошенный ей на спину плащ скорее не скрывал ее тела, а наоборот, своим вызывающе ярким золотом с изнанки еще сильнее подчеркивал торжество ее красоты… нестерпимой красоты, от которой стучит в висках, ломит зубы, заходится сердце…

Старуха невольно провела дрожащей рукой сверху вниз по лицу, и горькая улыбка исказила ее губы. Но вот она отошла еще немного в сторону, и в новой перспективе мозаика предстала перед ней совсем в ином виде. Левая сторона со светлым телом отжимающей свои намытые волосы красавицы осталась изысканной, изящной по форме и цвету, но не больше – зато правая с фигурой в золотистом плаще превратилась уже окончательно в явный триумф божества, божества строгого и сдержанного в своем величии, представляющего собой явную победу Афродиты Урании – Небесной – над Афродитой Пандемос – Всенародной.

И едва ли не те же самые черты вдруг проступили в морщинистом загорелом лице старухи, но тут же пропали, в следующий момент на такой же краткий миг сменившись откровенной животной похотью. Впрочем, эта причудливая и странная смена выражений ее лица

[1] Лутерия – греческий сосуд для омовения. – *Здесь и далее примечания и комментарии автора.*

могла оказаться просто-напросто игрой теней или мимическим обманом, тем более что старуха тут же решительно опустила на лицо сильно посекшуюся муаровую мантильку. А солнце уже играло всеми оттенками золота на кресте Владимирского собора[2].

Старуха повернулась и медленно двинулась в сторону гордо возвышающейся колокольни, и было видно, что ей стоит немалых усилий не оглянуться на покинутую и словно бы поблекшую после ее ухода мозаику. Старая женщина шла с безукоризненно прямой спиной, и темные тени спешили за ней, перетекая по ослепительно-белым камням. Эти тени то замирали траурными покрывалами на некрополях, то дьявольски метались по караулкам и казармам. Казалось, они жили своей собственной жизнью. И когда старуха тревожно замирала, они еще какие-то доли секунды дрожали, не находя себе места, и только потом притворно успокаивались. Они ложились покорными псами у ног, облаченных в серые от пыли прюнелевые ботинки, каковых никто не носил уже добрых двадцать лет. Старуха сурово поджимала увядший злой рот и правой рукой в порванной митенке властно перехватывала левую, которая острым нераскрытым зонтиком будто так и намеревалась проткнуть непослушную тень. На локте при этом отчаянно мотался ридикюль, грозя оборваться с протертого ремешка. В этой смутной, непонятной, но явно тяжелейшей борьбе проходило несколько секунд, потом все замирало в сомнительной устойчивости, и старуха снова двигалась в путь. А слева от нее все так же лениво дымилось и дышало море.

Скоро спуск к бескрайнему водному пространству остался позади, у средневековых базилик, и впереди были лишь крутые скалы, но старуха упорно шла к ведомой ей одной цели. Под самым колоколом, молчавшим давно и не заговорившим, даже несмотря на грозную годину, она вдруг резко подобрала юбки и одновременно уверенно и осторожно, как слепая, стала спускаться по почти невидимым ступеням, вырубленным в скале то ли старым дозорным, то ли временем. Несколько раз на повороте ее качнуло, но старуха даже не попыталась схватиться рукой за известняк или остановиться передохнуть, переждать, дабы затем покрепче поставить больные ноги. Она неумолимо спускалась и только после того, как померк над ее головой блеск золотого купола, на минуту замерла, утробно вздохнула и продолжила спуск уже спокойней.

Внизу, под скалами, куда она наконец пришла, оказался крошечный пляжик – не больше трех шагов в длину и двух в ширину. Лучи солнца долго не попадали сюда, и потому песок здесь все еще оставался твердым, волнистым и влажным, как стиральная доска. Сравнение это, видимо, поразило старуху своей прозаичностью, и она презрительно фыркнула, отчего лицо под мантилькой со вздувшимися ноздрями стало на миг молодым и гордым.

– Стиральная доска… – прошипела она, озвучивая свое сравнение, и махнула рукой, отгоняя непрошеное виденье долговязой девочки, с прикушенными до крови губами стирающей нижнюю юбку на ледяном полу умывальной в пять часов утра невыносимого декабрьского дня. – Вернуться к тому же? А ты, быть может, хотела в Париж, в комнаты мадам Мирман? Ха-ха-ха! – вдруг зашлась она в низком, почти вульгарном смехе. От такого смеха, пожалуй, любому стало бы не по себе, но в то же время невозможно было не поддаться его дикому, шальному очарованию. – Ха-ха-ха! – продолжала старуха, и задремавшие чайки, шумно вспорхнув, улетели. – Так, так! – с восторгом притопнула старая женщина, отчего на песке остался невероятно маленький, узкий, детский след. Она смеялась, упиваясь этим смехом, и не слышала или просто не обратила внимания, как за бухтой, за старым греческим портом прокатились глухие раскаты тяжелых двенадцатидюймовых пушек. Ей казалось, что движение песка, шепелявыми струйками посыпавшегося с обрыва, вызвано ею самой, ее отчаянием и ее решимостью.

Но точно так же внезапно, как начался, приступ веселья закончился вместе с канонадой, и старуха принялась внимательно всматриваться в прибой, вяло лизавший песок. Казалось, ее не устраивает медлительность и лень воды и она предпочла бы рев ветра и оскалы насто-

[2] *Владимирский собор* – Собор Равноапостольного князя Владимира в Херсонесе, конец XIX века.

ящего шторма. Но шторма не было уже несколько месяцев и совершенно не предвиделось в ближайшем будущем. Поэтому старуха, словно проверяя правильность своих действий, положила ладонь под грудь, прислушалась к неровным толчкам сердца и решительно села на холодный песок, вытянув длинные и стройные даже под тяжелой тканью ноги. Кусок подола тут же намок и заполоскался, как водоросли, и стало видно, какой когда-то была эта ткань – не просто черной, а с лиловым отливом, с вытисненными ирисами, кое-где продернутыми серебряной нитью.

Но старуха равнодушно скользнула взглядом по былому роскошеству и щелкнула железным замочком ридикюля. Тот распахнул свою проржавевшую пасть, и оттуда, как жадный язык, вывалилась пухлая тетрадь в сафьяновом переплете, явно старая, но не потерявшая от времени своего огненного дерзкого цвета. Старуха взяла ее осторожно, словно боясь обжечься, и стиснула в порыве не то ненависти, не то любви. Простая стальная застежка в виде латинской литеры S давно была сломана, углы прорвались, а обрез от долгого употребления потемнел и засалился. Однако, когда тетрадь от дрогнувшей руки раскрылась сама, вероятно на том месте, где ее чаще всего открывали, оказалось, что прекрасная плотная бумага верже сохранила свою девственную белизну даже на полях. Рука в рваной митенке и с грязными ногтями застыла над беззащитно распахнутым лоном тетради, словно ангел смерти или насильник над жертвой… Лицо над тетрадью тоже стало белым, дикое выражение торжества, желания, унижения и мести осветило его изнутри, сделав одновременно страшным и жалким, – и с каким-то клекотом старуха опустила пальцы на лист и сладострастно дернула его, с мясом вырывая страницу – хранилицу коричневатых слов. Потом, небрежно отбросив тетрадь в сторону, старуха принялась лихорадочно складывать из листа кораблик. Пальцы не слушались, плотная бумага поддавалась плохо, да старуха и давно забыла, как складывать эти детские забавы, но она упрямо гнула и ломала лист. Наконец, сложив слабое подобие разваливающейся лодочки, она царственным жестом бросила ее в воду, и на парусе мелькнули нелепые слова: *«…не буду писать… никогда не писала и не думала писать, ибо…»*

Жаркие пятна вспыхнули на щеках и жилистой шее старухи, и она поспешно схватила второй лист. На этот раз лодочка получилась уже более ладной и сразу же тоже заплескалась в прибое. Через несколько минут уже множество утлых суденышек жалобно лепились к берегу, не желая ни тонуть, ни уплывать вдаль. Обернувшись, старуха с ненавистью посмотрела на неровный ряд лодочек и попыталась оттолкнуть ногой ближайшую. Но та, как наивный щенок, только еще плотнее припала к песчаной кромке, и рука в митенке сжалась в бессильный кулак – море не хотело ей подчиняться.

– Проклятые… Проклятые! – забормотала старуха. – Всегда были проклятые, и природа вас не берет! – С неожиданной силой и проворностью она вскочила и, вырвав очередную жертву, принялась мять и комкать ее в жесткий неровный шар. На кривых боках его начинавшее проникать и сюда солнце выхватывало летящие буквы и обрывки фраз: *«…без борьбы, без уверенности…», «…изменилось в несколько дн…», «…с тобой о России…».*

Старуха уже размахнулась, чтобы запустить бумажный комок подальше, как где-то наверху вдалеке, вероятно еще у башни Зенона[3], ее обостренный, как у зверя, слух различил неровный, спотыкающийся перестук копыт.

Поднятая рука, вмиг вспотевшая, застыла в начатом движении, и по пальцам поплыли коричневатые разводы – это умирали слова, еще даже не успев окунуться в пучину моря. Всадник, судя по звуку, приближался неровным скоком, какими-то зигзагами, будто искал кого-то, и старуха в ужасе подумала, что он ищет ее, ищет, чтобы не дать ей совершить ужасное святотатство.

---

[3] *Башня Зенона* – часть античной херсонесской крепости, относительно хорошо сохранившаяся до наших дней; к философу Зенону отношения не имеет.

– Нет, не получите! Не получите! – взвизгнула она, швырнула комок подальше в море и, бросившись в воду сама, стала руками отгонять робкую флотилию от берега. Она махала вздувшимися в воде юбками, топила лодочки ладонями, но то одна, то другая упорно снова поднимались на поверхность, оставляя вокруг себя темное прозрачное облачко. Они не хотели погибать, и даже заброшенный подальше и готовый опять распуститься шар покачивался как ни в чем не бывало, будто ждал милости.

А всадник был уже совсем рядом, потому что песок за спиной старухи сыпался все громче и все отчетливей. И ее обуял настоящий ужас, словно у нее за плечами двигался не человек, а сам божественный вестник смерти. Но она боялась не за свою жизнь, уже давно потерявшую оправдание и смысл, давно переставшую называться таковой, давно – с тех самых коричневых слов на бумаге верже… Она боялась, что не успеет закончить своей казни, последней казни, которая еще имела смысл. Казнь была ее отрадой, ее занятием, ее упоением долгие-долгие годы второй половины ушедшего века. Она казнила время, мужчин, женщин, убеждения, веру, вещи, саму себя, наконец. Но только сейчас, на закате существования, опасаясь новых веяний, дувших над Тавридой последние несколько лет, она решилась свершить казнь и над ними – над этими проклятыми письмами, искорежившими всю ее так безбрежно начавшуюся жизнь.

И снова ей на мгновение представились юность, поле после грозы, радуга, соединяющая земное и небесное, первый чистый восторг бытия… Поле… Полюшко… Полюшка… Где ты теперь, что ты?!

– Мадам! – вернул ее к действительности хриплый молодой голос, и она не могла не обернуться, ибо до сих пор слишком любила такие мужские голоса. – Что вы здесь делаете? Красные уже на той стороне Карантинной, полковник Медынский приказал мне объехать Херсонес и сказать всем, что еще не поздно и есть возможность уйти через наши батареи за водохранилищем. Но место как вымерло. Сейчас я спущусь и помогу вам выйти. – И поручик спрыгнул с коня.

Но вместо того чтобы броситься навстречу спасению, старуха двинулась еще дальше в ледяную воду, гоня перед собой свою игрушечную флотилию.

– Да она сумасшедшая, *quel diable*![4] – выдохнул юноша и, скользя, почти съехал вниз. – Вы что, не понимаете, через четверть часа это зверье будет здесь!

Ноябрьская вода обожгла ему колени, и, не слушая отчаянного визга старухи, офицер поднял ее на руки, смутно удивившись ощущению тугого тела под ворохом намокшего платья. На секунду ему показалось, что он держит в объятиях девушку, но иллюзия была тут же нарушена низким старческим воплем:

– Да как ты смеешь, щенок?! – И старуха с неожиданной силой и ловкостью стала вырываться, кусаясь и царапаясь, как обезумевшая кошка.

– Мадам, что вы, мадам, еще не все потеряно… – бормотал юноша, кое-как уворачиваясь.

Они были уже на берегу, когда тяжелое тело в его руках вдруг обмякло, и он с отвращением, к которому каким-то чудовищным образом примешивалось и наслаждение, почувствовал, как цепкие руки старухи с жадностью обнимают его, а грудь прижимается к груди. Он попытался освободиться от объятия, споткнулся и, инстинктивно глянув вниз, почти механически отбросил носком под скалы какую-то красную тетрадь.

Через минуту они уже стояли наверху. Со стороны бухты гудело и стонало, и вспышки орудийных выстрелов вспыхивали на золотом куполе собора. Но старуха, казалось, не слышала и не видела ничего вокруг: прикрыв тяжелые веки, она застыла в руках потерявшего ощущение реальности поручика. Кое-как пристроив ее на седло сзади, он тронул лошадь и в последний раз обвел глазами мертвый город, которому так скоро предстояло пережить еще одну смерть от новых скифов. Потом взгляд его скользнул к морю, и там под скалой он увидел белую цепь

[4] Черт возьми! *(Фр.)*

уже поредевших бумажных корабликов. На его глазах они один за другим уходили под воду. Будучи не в силах выдержать этой картины всеобщей гибели в миниатюре, юноша по-детски всхлипнул и двинул усталую лошадь отчаянной рысью. Старуха сзади намертво вцепилась ему в плечи, и черное мокрое платье ее гулко хлопало на ветру, вторя выстрелам с Карантинной.

А поручику казалось, что за его спиной таятся сама судьба и смерть…

Глава 1. Миллионная улица

Миллионная спала, как всегда плутая в своих снах, но даже в них не забывая о долге удерживать своей стрелой две самые прекрасные городские площади – Дворцовую и Марсово поле. Ей, как всегда летом, было душно, она рвалась к воде, обреченно зная, что все равно никогда не доберется ни до Невы, ни до Мойки, и потому бережно тратила единственный глоточек влаги, доставшийся бедняжке у Лебяжьей канавки.

Сны под утро снились самые сумбурные, сегодня, например, привиделось, как на Царицыном лугу[5] эскадрон кавалергардов расстроился, обнаружив там целое стадо коров, а после княгиня Бетси[6] клялась и божилась, что ни одна женщина в Петербурге не умеет лучше нее стрелять из пистолета…

«Господи, приснится же такая ерунда!» – подумал Данила и заставил себя разлепить глаза. По знакомому пятну на шпалерных обоях он сразу же удовлетворенно определил, что находится вовсе не на Царицыном лугу, и нет вокруг ни коров, ни кавалергардов. Нет, он, как всегда, у себя дома и приходит в себя после вчерашней попойки. «Вот черт», – снова с досадой подумал он.

Однако комната несколько успокоила его: все в ней было привычно просто и привычно бессмысленно. Он выменял эту крошечную однокомнатную квартирку в штакеншнейдеровском[7] доме уже давно, еще до всяких квартирных бумов, когда это можно было сделать просто через районное агентство, самолично порывшись в картотеке. И с тех пор он вообще не отделял свою квартиру от себя самого, ибо это была его первая и, скорей всего, последняя квартира. В ней царил тот же хаос, что и в душе хозяина. Данила, сын серба и француженки, которых советская власть на излете хрущевской оттепели свела в какой-то российской глубинке, с детства был предоставлен самому себе. Мать ушла из семьи, а потом и умерла так рано, что он ее почти не помнил, а отец, пробуя заниматься то журналистикой, то фотографией, то коммерцией и ни в чем не добиваясь успеха, постоянно мотался по всему Союзу. Данила жил то у каких-то мифических родственников, то у мимолетных отцовских подружек, а чаще просто сам по себе в их голой комнате в коммуналке. К счастью, ему везло не только на плохих людей, но и на хороших, и как-то незаметно получилось так, что к двенадцати годам он уже знал половину музейных ленинградских старушек, нырял с Иоанновского моста[8] за старинными монетками и не имел никаких сомнений по поводу своего будущего. Мир старины, ее пряный аромат и связанные с этим удачи, в том числе и материальные, поймали его навсегда в свою ловушку. Этот причудливый и жестокий мир научил Данилу лгать, выкручиваться, казаться совсем не тем, что ты есть, пить, курить всякое, на ощупь отличать чашку семнадцатого века от чашки века восемнадцатого и до предела развил так называемый нюх на людей. Как любая дворовая собака безошибочно отличает доброго от злого и заранее чувствует их намерения, так и Данила всегда точно угадывал, принесет ему общение с тем или иным человеком выгоду или нет. Причем выгода заключалась не только в деньгах или вещах – он равно признавал и ценил и знания, и доброту, и любовь. Еще будучи совсем молодым, Данила исколесил всю страну, пару лет отсидел, и в свои сорок лет знал куда больше, чем большинство эрмитажных храни-

---

[5] * Царицын Луг – нынешнее Марсово поле. Здесь и далее знаком «*» отмечены ссылки, которые отображают соответствие старых и современных названий улиц.

[6] *Княгиня Бетси* – имеется в виду княгиня Елизавета Барятинская, проживавшая на углу Миллионной и Мошкова переулка в середине XIX века и отличавшаяся большим чванством.

[7] *Штакеншнейдер* Андрей Иванович – придворный архитектор императоров Николая Первого и Александра Второго, автор Мариинского дворца, дворца Труда и многих других зданий и интерьеров. До 1862 года жил в собственном доме на Миллионной, где держал литературно-художественный салон.

[8] *Иоанновский мост* – мост через Кронверкскую протоку, от Петроградского острова к Заячьему, к Иоанновским воротам.

телей узнает за всю свою жизнь. Он даже мимоходом умудрился окончить русское отделение филфака, пару раз был женат, но браки эти рассосались как-то сами собой, не оставив в душе Данилы ни сожаления, ни особых восторгов.

Вот и теперь Данила занимался, как и всегда, всем без разбора, держал маленький магазинчик на Гатчинской улице и деньгами совершенно не дорожил, одинаково чувствуя себя независимым и когда они у него были, и когда их не было. Антиквариат давно уже стал для него не просто способом добывать деньги или самоутверждаться, а настоящей жизнью, самой что ни на есть естественной жизнью, и точно так же, как другие спят, дышат, едят, занимаются любовью, так Данила искал, покупал, менял, крал, совершая то подлости, то благородные поступки ради какой-нибудь уникальной находки.

Надо сказать, что и дом этот он выбрал по странной, жившей лишь по каким-то своим внутренним законам души прихоти: когда-то он прочел, что у великого придворного архитектора была дочка, образованная, умная, прелестная, но горбунья. И пусть о ней с уважением и восторгом отзывались Тютчев, Достоевский и даже сам государь-император, но одинокое сердце Данилы вдруг с тоскливой ясностью ощутило все, что должна была испытывать эта несчастная горбунья, – и он загорелся. Разумеется, мысль была дикая, но Данила свято верил, что, оказавшись в ее доме, он своим присутствием и, главное, отношением так или иначе поможет этой бедняжке. И неважно, что она умерла сто лет назад – связь времен не прерывается никогда, а сродство душ и тем более.

Тогда-то он путем долгих осмотров, ходов и доплат поменял свою комнату в коммуналке на эту крошечную квартирку. Потом, добравшись до архивов, он, к своему удовольствию, выяснил, что в штакеншнейдеровские времена здесь находилась именно та часть апартаментов матери, где Елена Андреевна читала и работала, ибо своей комнаты у нее не было. Значит, именно здесь она могла быть самой собой, поверять дневнику или подушке невеселые сокровенные чувства и мысли. И Данила всячески старался теперь ее утешить: он начал собирать вещи середины прошлого века, углубляться в писания того времени и своей жизнью доказывать давно ушедшей умнице-горбунье, что ничто не пропадает бесследно, что все существует и живет, пусть и немного иначе. И плевать ему было, что кто-нибудь, узнав о его странности, покрутит пальцем у виска – человеческими мнениями он не дорожил уже лет двадцать.

Он очень сдружился с Еленой Андреевной и теперь ни за что не променял бы свою гарсоньерку на любую роскошь ни за городом, ни в центре. Впрочем, и денег у него таких не было.

И вот сейчас он с удовлетворением обвел глазами пурпурные обои с вытертыми золотыми завитками, подлинного позднего Михнова[9] на стене, тяжелые зеленые гардины и окончательно успокоился на музейном хаосе столиков и пола со старым персидским ковром. Гардины пока не вспыхнули поднявшимся солнцем, и, значит, было никак не позже пяти утра, что сулило еще тройку-пятерку часов блаженного досыпания, когда хмель уже почти выветрился, но в теле еще осталась приятная расслабленность.

– Я, пожалуй, еще посплю, Елена Андреевна, – улыбнулся Данила и, откинув прямые черные непокорные волосы, зарылся носом в подушку.

Но гений места не отпускал его, и снова перед глазами заплясала одоевская[10] чертовщина, все эти косморамы, саламандры и княжны Мими. Впрочем, в силу своей откровенной фантастичности они, в отличие от коров и кавалергардов, были не страшны и почти приятны. Данила сладко плавал в мире невольных побуждений, но тут вдруг в этот радужный мир ворвался отвратительный звук телефона. Причем не мобильного, а обыкновенного, пятидесятых годов, позаимствованного Данилой у бывших соседей и стоявшего в самом дальнем углу.

---

[9] *Михнов* – Михнов-Войтенко Евгений Григорьевич (1932–1988), гениальный русский художник-петербуржец, жил на Петроградской стороне.

[10] *Одоевский* Владимир Федорович – князь, русский писатель, автор романтических и философско-фантастических повестей.

Данила попытался зацепиться за ножку прекрасной саламандры и не слышать звонка, но саламандра, словно испугавшись резкого постороннего звука, скользко вывернулась и пропала, оставив Данилу один на один с этим жестоким аппаратом. Антиквар попытался еще раз притвориться, что не слышит, но прелесть сна все равно ушла, и он медленно, все еще надеясь, что телефон замолчит, подошел к маленькому эбонитовому чудовищу.

– Вот гад! – пробормотал он, обращаясь не то к телефону, не то к звонившему. – Mille pardon, Елена Андреевна, – бросил он быстрый взгляд на увеличенную фотографию дочери архитектора, ту самую, начала шестидесятых, где горбунья сидит, опершись на руку. Ее свободное платье с рюшами, неуклюже скрывающее горб, ясное умное лицо, а в особенности трогательно маленькие ручки и невинный гимназический воротничок почему-то до слез умиляли Данилу. И, как это ни странно, именно из-за Елены Андреевны он очень редко приводил женщин к себе, довольствуясь гостиничными номерами, а то и сиденьем машины – нечего ей, девице, всякое видеть, незачем обижать и без того обиженную. – Я слушаю.

– Я говорю с Даниилом Дахом, если не ошибся. – Голос был вежливый, но крайне неприятный.

– Именем, конечно, не ошиблись, а вот временем, кажется…

– Если вам нужны формальные извинения, то пожалуйста, но, думаю, известие, которое я вам сообщу, избавит меня от них.

– Проехали, – буркнул Данила, а затем подумал: «Что за дурацкая манера – сейчас скажет о какой-нибудь коллекции фантиков двадцатых годов, а тон такой, будто речь идет о неизвестном Брейгеле». Впрочем, фантики тоже хороши, Данила уже давно не отказывался ни от чего, правда, не в пять же утра. – Но давайте по возможности покороче, – гнусаво закончил Дах.

– А долго и не получится. Так вот, я надеюсь, вам говорит о чем-то словосочетание «тетрадь шестнадцать на девятнадцать, в черном коленкоре, разлинованная для лекций, с записями чернилами и карандашом»? – Ответа не последовало, но говоривший был человеком опытным, поскольку тоже замолчал, а в такого рода диалогах всегда выигрывает тот, кто говорит меньше. Прошло несколько долгих секунд, и по дыханию на том конце провода Данила вдруг ясно почувствовал, что трубку сейчас положат.

– Да, говорит, – нехотя признался он.

– Отлично, я знал, что не ошибся и…

– В таком случае для продолжения разговора я хотел бы услышать и ваше имя, – жестко прервал его Данила.

Неизвестный хмыкнул:

– Григорий Черняк. Все равно большего узнать вам не удастся, да и не нужно.

Данила мгновенно пробежался памятью по всему кругу околоантикварных людей и подобного имени не вспомнил.

– Хорошо. Но она давно и спокойно лежит себе в ЦГАЛИ, равно как и та, что в бордовом сафьяне.

– Безусловно. Но если вы сейчас не поленитесь и подъедете в ЦПКиО, а там пройдетесь по бывшему корсо[11] налево…

– …то обнаружу там шкатулку с тетрадью, науке еще неизвестной?

– Господи, вы же взрослый человек! Просто там вы все сами и увидите, и поймете.

– Благодарю за информацию, Григорий, но все-таки скажу вам, что я уже вышел из детсадовского возраста. Всего хорошего, и не совершайте больше таких идиотических поступков, особенно по утрам – это я вам в благодарность.

Трубка снова спокойно и раздумчиво хмыкнула, но Данила уже нажал на блестящие металлические рожки.

---

[11] Здесь – аллея для прогулок.

«Гнусность какая», – едва не прошептал Дах. Он, не одеваясь, сел на подоконник и закурил. ЦПКиО, надо же что вспомнили. Когда-то давно, перед самой перестройкой, на острове действительно собирались антиквары, причем антиквары не простые, а так называемые блокадники. Это были те, кто сделал свое состояние на смерти и ужасе, не мелкие управдомы, хапавшие из опустевших квартир, а люди, находившиеся совсем на других уровнях. И Данила, тогда совсем еще мальчишка, порой смотрел в их барственные старые лица с ледяными беспросветными глазами, и по спине у него пробегал холодок посильнее, чем от конкурентов и органов. Но потом вошедший в силу криминал, угрожая, конечно, не самим мастодонтам – это было совершенно невозможно, – а воздействуя на детей, жен и внуков, выжил эти сборища с острова, и все мало-мальски имевшие отношение к их профессии давно обходили парк стороной, как некое зачумленное место, и не вспоминали о нем никогда. Он и сам давно забыл о нем. В его деле надо было очень хорошо *уметь забывать*.

Внизу раскинулась Миллионная, вся еще во власти беспокойного душного сна, она лежала тихо, и только одинокий велосипедист, с маниакальной методичностью и сам того не подозревая, каждое утро совершал повторение бешеной гонки юного Канегиссера[12] от арки Главного штаба до проходной парадной с выходом на набережную.

«Ах, ничего-то, ничего не уходит, милая Елена Андреевна, – вздохнул Данила, машинально провожая взглядом велосипедиста, который сейчас, конечно, вернется, упершись в закрытую последнюю дверь на свободу. – Вот сволочь, интриган дешевый, филолог недоделанный… Нет, сейчас докурю и пойду завалюсь спать. Пошли они все…» – но вялость мыслей уже совсем слабо обволакивала знакомый судорожный и холодный комок предчувствия удачи. Данила только невероятным усилием воли заставил себя затянуться еще несколько раз.

Черная тетрадь пролетела за окном в виде большой черной вороны, и Дах опрометью бросился одеваться.

[12] *Канегиссер* Леонид – двадцатилетний поэт, эсер, в 1918-м в здании Главного Штаба хладнокровно убил председателя Петроградского ЧК Урицкого и пытался скрыться от преследования на велосипеде по Миллионной, однако был задержан из-за того, что дверь через проходной двор на Дворцовую набережную оказалась закрыта.

Глава 2. Стрелка Елагина острова

По заливу плыли яхты, то сливаясь с белесым предутренним туманом и пропадая, то явственно белея на фоне Кронштадта или фортов. Их неровные цепи, хаотично расходящиеся и смыкающиеся, неожиданно, ломая всю романтичность, напомнили Кате какие-то цепочки химических молекул – а химию она не знала и терпеть не могла, и даже теперь, спустя три года после окончания школы, ей периодически снился ужасный сон о том, что она не может ответить на вопрос о способе производства соляной кислоты. Катя просыпалась в холодном поту и долго приходила в себя, выкарабкиваясь из сна, цепляясь за знакомые предметы в комнате.

Воспоминание было ужасно неприятным, во-первых, своей неуместностью, а во-вторых, тем, что делало Катю окончательно чужой в этой компании. Она и так попала сюда почти случайно. Дело в том, что Катя владела роскошной персидской кошкой, на котят от которой всегда существовала немалая очередь. И невероятно чадолюбивая Катя тщательно следила за судьбой своих питомцев, методично объезжая новых хозяев. В русле этих-то забот вчера вечером она и заглянула в гости к хозяйке кота из самого первого помета. Кот с пышным именем сэр Перси давно не помнил ее, впрочем, и ходила она туда, честно говоря, не только и не столько ради него. Ей просто нравилась атмосфера этой нелепой квартиры, где во главу угла ставились одни только книги, а все остальное находилось в совершенном загоне. Кате, выросшей в семье медсестры и рабочего с «Вулкана», было дико и в то же время безумно интересно смотреть, как квартира не убирается, вероятно, неделями, посуда не моется днями, зато хозяйка, всего лет на пять старше ее, пьет кофе из шелковых чашечек и часами говорит о каких-то совсем непонятных Кате вещах. В доме постоянно толклось множество народу, насмешливого, бедного и совсем не похожего ни на гламурных идиотов из телевизора, ни на собственное Катино окружение из ларечных бизнесменов и секретарш, гордо называемых референтами. Катя знала, что собиравшиеся у Евгении равно презирают и тех и других, хотя к ней они всегда относились вполне участливо. Все это было и унизительно, и привлекательно одновременно, и она никогда не упускала возможности зайти сюда под предлогом неизбывного беспокойства о сэре Перси и о его здоровье. Конечно же, в глубине души она прекрасно сознавала, что ходит туда за чем-то совсем иным, причем это иное заключалось отнюдь не в том, чтобы, например, найти там себе мужа или проникнуться ученостью. Если бы дело обстояло так просто, то она давно бы уже сделала в этом направлении нужные шаги – решительности Кате было не занимать. Но она до сих пор сама не знала, чего именно хочет, и потому ей было тревожно и стыдно каждый раз, когда она переступала порог этого странного дома и брала на руки сэра Перси, пряча свои чувства в его пушистой рыжине.

И вот вчера уже довольно поздним вечером она точно так же заскочила на полчаса. Пока Катя проверяла кота, хозяйка квартиры решила заглянуть в какую-то уже давно ожидавшую ее внимания рукопись. Однако едва только Женя взобралась на диван с бутербродом, сигаретой и пухлой рукописью, как в квартиру ворвалась целая толпа каких-то оживленных молодых людей, потребовавшая немедленно все бросить и ехать на Пуант.

– И вы, Екатерина Николаевна, с нами, – безапелляционно потребовал Дмитрий, молодой аспирант в очках, всегда называвший Катю по имени-отчеству и этим ее весьма смущавший. – Вы же еще никогда не бывали на Пуанте? – прищурившись, уточнил он.

– Нет, не бывала, – честно призналась Катя, давно понявшая, что среди этих людей выгоднее всего не врать, а оставаться самой собой. А потом простодушно спросила: – А разве не поздно?

– Этот вопрос слишком метафизический, – рассмеялся молодой человек, увлекая ее за собой и не обращая внимания на так и не завязанный шнурок Катиной кроссовки. – Подумайте

только, Пуант – это прелесть что за место! Там когда-то собирался весь бомонд, но не столько из-за красоты пейзажа, сколько из-за графини Юлии[13]. Вы, конечно, помните графиню Юлию?

– Нет, не помню, – все так же простодушно откликнулась Катя, но потом спохватилась и добавила: – В смысле, не знаю.

– Разумеется, ибо еще и ваша прабабушка, наверное, тогда не родилась, – бодро подхватил молодой человек, ничуть не смутившись. – Но неважно. Так вот, все ездили к графине Юлии и даже предпочитали визиты к ней раутам в Зимнем дворце. Николай Павлович в конце концов страшно возмутился и запретил ездить на ее вечера в Павловск, на что графиня Юлия мило улыбнулась и сказала: «Помилуйте, ваше величество, публика ездит не в Павловский дворец, а к графине Самойловой. Я перенесу свои вечера хоть на пустынный берег – и все просто будут ездить туда, вот и все». Не правда ли, хороша была графиня Юлия?

– Правда, – просто ответила Катя, а потом поинтересовалась: – И что, она в самом деле перенесла свои вечера на пустынный берег?

– Да! Вот тогда-то все и стали ездить на Пуант! – продолжал Дмитрий просвещать свою подопечную. – Тогда там все было по-иному, ни гранита, ни львов, лишь пологий илистый берег, в котором утопали тупоносые туфельки…

И пока они гомонящей толпой шли к метро, Кате казалось, что сейчас ее приведут в какой-то таинственный дворец, похожий, вероятно, на туфельку балерины, но, к ее удивлению и огорчению, компания вывалилась из метро на Крестовском острове и, перейдя мост в ЦПКиО, повернула налево.

– Но там же ничего нет! – не выдержала Катя, когда в тусклом свете подходящей к концу белой ночи перед ними замерцали львы Стрелки.

– Разумеется! Разумеется. Ведь Пуант – это всего лишь точка нашего притяжения, момент перехода в иное…

– В иное «что»? – вдруг забеспокоилась Катя.

– Во что хотите: пространство, время, человека. Неужели вам никогда не казалось, что вот, стоит еще чуть-чуть, немного собраться, напрячься, отдаться – и картина мира откроется вам в настоящем, полном, законченном виде, таком, как создал ее Господь, и все будет явно, и все доступно, и все понятно…

– Нет… Наверное, нет. То есть я как-то не задумывалась об этом, – честно начала было Катя, но в тот же миг неожиданно вспомнила, как давным-давно, в детстве, еще на Алеховщине у бабушки, попала в грозу. Бабка, занятая огородом и коровой, не очень-то занималась маленькой Катей, и та бегала где хотела. Гроза застала ее на опушке леса, и, помня, что в грозу нельзя быть ни в поле, ни под деревьями, она легла в канавку на границе леса и луга. Гром разрывался у нее над головой, как снаряды в военных фильмах, а молния слепила даже через зажмуренные глаза. А когда все стихло и девочка боязливо разлепила ресницы, то увидела, что прямо над ней, только протяни руку, стоит радужный столб. Одним концом он упирался в землю, почти касаясь Кати, а другим уходил далеко в прояснившееся небо. И тут девочку пронизало мгновенное ощущение какой-то радужной бесконечности, или… абсолютного бессмертия – конечно, это определение пришло ей в голову только сейчас, а тогда она просто ощутила себя одновременно и землей, и небом, и воздухом, и собой, Катей Соловьевой восьми лет от роду. – Только… один раз мне показалось, что я… ну, типа вечная, – вдруг тихо закончила она, покраснев до ушей, и в сотый раз устыдилась румянца своих слишком круглых и слишком розовых щек.

---

[13] *Графиня Юлия* – имеется в виду графиня Юлия Самойлова, в действительности совершившая поступок, о котором упоминает Дмитрий.

– Вот как? – отнюдь не рассмеялся в ответ Дмитрий. – Это безумно интересно, и вы как-нибудь мне непременно расскажете об этом поподробней, Екатерина Николаевна, а сейчас… Посмотрите, мы отстали, и что подумает Женя?

Они побежали вперед по узкой косе, где слева курилась река, а справа тянулась цепочка прудов, ставших в ночи густо-синими, почти лиловыми.

Остальные члены компании уже раскладывали на Стрелке, тревожа сонных недовольных львов, еду и звенели невесть откуда взявшимися бокалами.

– Помилуйте, как же без бокалов, – смеялся Володя, не то поэт, не то музыкант, удивлявший Катю своим невозмутимым спокойствием. – Я не мог приехать на Пуант без хрусталя. Не то – что станет говорить княгиня Марья Алексевна! – Следом появились и белоснежные льняные салфетки, и фарфоровые кольца для них, и скрипящая накрахмаленная скатерть.

«И это все для чипсов и паштета за двадцать рублей! – ахнула внутренне Катя. – Ведь потом эти салфетки не отстираешь… и сколько времени на это понадобится! Это же… как-то бессмысленно…» – начала было размышлять она. Но вдруг то, что у других выглядело бы нарочитостью, здесь почему-то показалось ей совершенно уместным и правильным.

– Это похоже на дешевый выпендреж, дружище, – неожиданно приостановил Володю Дмитрий. – Ведь всю эту гранитную красоту устроили не княгини, а победивший пролетариат в двадцать шестом году. До тех пор тебе не то что хрусталь – тебе сапога бы из грязи здесь не вытащить. – И затем шепнул Кате на ухо: – А про Марью Алексевну – это он шутит, хотя… – После чего вновь произнес громко, обращаясь к своему приятелю: – А впрочем, ты, как всегда, прав. Просто иначе себя уважать перестанешь.

– Хотите, расскажу одну блокадную историю? – вдруг спросила жена Володи, та самая Марья Алексеевна, тезка грибоедовской княгини.

– Да, хотим, – неожиданно за всех ответила Катя.

– Одна старушка, бывшая дворянка, спасла всю свою семью, и дочь, и внуков – всех. И спасла только тем, что каждый день, даже в самый ад, как угодно, заставляла их перед едой тщательно мыть руки и шеи ледяной водой, а саму еду, эти жалкие жмыховые кусочки, каждый раз раскладывала на севрский фарфор, ставила кольца, клала салфетки, столовое серебро…

– Ради жалких ста двадцати пяти граммов?! – почти возмутилась Катя.

– Ради самоуважения и гордости, Екатерина Николаевна, – поддержал Марью Дима.

– Да она бы на это серебро…

– Проесть фамильные вещи – невелика заслуга, а дух можно поддержать только духом. Вы, a propos[14], что в себе больше цените – дух или тело?

Катя окончательно смешалась. Скажешь «дух» – будет смешно и, наверное, неправда, а ответишь «тело» – не так поймут, да и, скорей всего, ответ не для этой компании.

– Задумались? А еще говорили, что ощутили однажды вечность! Ну-ка, скажите, когда у нас дух с телом разделяется, а?

– Когда человек умирает, – пробормотала Катя, как на уроке.

– Вот-вот. Я вас провоцирую, а вы поддаетесь. Нехорошо, Екатерина Николаевна.

Но уже лилось шампанское, улыбались львы, и со всех сторон неслись обрывки разговоров, в которых оказывались неожиданно уместными любые имена, от Горгия[15] до Путина, и события, от последней охоты Некрасова до бомбежки Бейрута.

Ночь неохотно отступала, цепляясь за нижние ветки кустов и затаиваясь по берегам прудов. Все вокруг покрылось жемчужной пленкой, готовой вот-вот прорваться и вспыхнуть розовыми искрами рассвета. Но Катя знала, что это ощущение обманчиво, что ночь уступит еще не так скоро, готовя своим поклонникам самые долгие и утомительные последние пол-

[14] Кстати *(фр.)*.

[15] *Горгий* – древнегреческий философ-софист.

часа, когда уже ясно, что очарование иссякло, интерес потух и только непреодолимо хочется спать. В голове у нее шумело от выпитого, но еще тошнотворней было от бесконечного потока фраз, ничего общего не имевших с той реальной жизнью, которой она жила и к которой привыкла. «Но, может быть, они обманывают сами себя, интересуясь всем этим больше, чем реальными вещами? – смутно думалось ей. – Ведь у каждого же из них есть дом, работа, дела, кажется, даже дети – и что же, это их нимало не заботит? Ведь надо же что-то есть, во что-то одеваться… – Катя, работавшая маникюршей в небольшом салоне на Бухарестской, отлично знала, сколько стоит жизнь в Петербурге. – Но не передо мной же они выделываются!»

– Я вижу, вы совсем засыпаете, Екатерина Николаевна, – вздохнул рядом Дмитрий. – Пойдемте-ка к воде, там легче.

Они остановились на невысоком парапете, прямо под которым мерно плескалась вода с неповторимым невским запахом.

– Зачем вы здесь сидите и говорите все это? – вдруг решилась Катя, почувствовав, что если не узнает правды, то просто не сможет… не сможет дальше… Жить? Что за глупости! Но что? Она не знала и только с какой-то пронзительной болью в душе чувствовала, что это не простое любопытство! – И вы всегда так делаете и везде? Вам что, делать больше нечего? Или у всех родители типа новые русские? Ведь я же знаю, что нет. Неужели это вам действительно интересно?! Ни за что не поверю!

Дмитрий неожиданно отодвинулся от нее и тихо, почти печально произнес:

– А вам и не понять этого, Катенька. Для этого в духе надо жить, в открытом мире, а не в своей, простите, скорлупе. Я думал, вы живая, жить пытаетесь, а вы… просто барышня из парикмахерской.

Катя вздрогнула, словно ее ударили по лицу. Нет, хуже, по лицу ее несколько раз бил отец в старших классах за двойки, ее обзывал блядью один из ее мальчиков, и один раз, приревновав, по-настоящему ударил другой, ей плюнула в лицо обиженная подружка, и вообще, она в свои двадцать лет пережила уже не так мало… Но эти тихие, эти подлые слова… Они жалили в самую душу, они унижали, они превращали ее в предмет, лишали смысла… Черная волна обиды и ненависти, зародившись где-то там, в черноте, под парапетом, понесла Катю все выше, слепя глаза, перехватывая дыхание, и оттуда, с необозримой высоты этой волны, она рванулась вниз, чтобы все забыть, все смыть и никогда больше не слышать идиотских разговоров – и навсегда перестать быть… барышней из парикмахерской.

– Надо же, не ошибся. Ну и гордая барынька, – усмехнулся Дмитрий. – Однако темперамент действительно гениальный. – Он уже откровенно хохотнул и, брезгливо покосившись на бурые водоросли, легко прыгнул следом…

Вода поначалу принесла облегчение прохладой и свежестью. И еще странным ощущением чистоты: ведь она смывала всю двусмысленность, грязь, обиду, а главное, то непонятное и неприятное, что почему-то приковывало Катю к этой компании. Но это блаженство продолжалось, увы, не так долго, как хотелось бы. Спустя несколько секунд, впрочем показавшихся Кате не то мигом, не то, наоборот, вечностью, свежесть превратилась в душную, наваливавшуюся тяжесть, еще более обидную и неприятную, чем та, что толкнула ее в воду. Девушка в ужасе распахнула глаза, но вместо темной зелени воды увидела какие-то серебристые слои, складывающиеся в причудливые очертания. Они дробились, плыли, смыкались снова, пока наконец не сложились в какое-то странное подобие женского лица. Лицо будто надменно улыбалось и в то же время было печально до слез. Вдруг веки его тихо дрогнули, словно маня Катю за собой. И она, теряя волю, поняла, что это смерть.

* * *

На мгновение ей вдруг увиделся другой город на другой реке, от воды которого пахло не острой свежестью, а почему-то затхлой рыбой и прогорклой мукой.

Весь день над набережными висели облака. Пыль с верхней части города летела к реке, заволакивая дали плотной серой вуалью. Дышать было нечем, и городские псы валялись повсюду, как мертвые, широко раскрыв оскаленные пасти.

Жизнь кипела только у сходней и на той стороне реки, у ярмарки, откуда через водную гладь неслись крики, брань, удары тюков о дерево. И это раздражало еще больше, подчеркивая мертвенную тишину улочек верхнего города. Аполлинария быстро шла по Ошаре, но, как бывает порой в дурном сне, ей казалось, что она еле бредет и никогда! никогда не доберется до дома. Красное платье ее вызывающе мелькало на фоне серых домов и покрытых пылью наличников.

До дома! Кому пришло в голову называть это домом! Она ненавидела и весь город, и верхнюю его часть, и саму улицу, на которой третьим от угла стояло солидное отцовское жилище, этот жалкий двухэтажный уродец на каменном подвале. Аполлинария зажмурилась, и после промелькнувших оранжевых кругов перед глазами возник серо-сиреневый абрис парижской гостиницы. В нем, несмотря на годы, читался настоящий шик. А пансионы Бадена, шале Швейцарии, таберний Италии, редакция «Эпохи», наконец!

Она поспешно открыла глаза. Впереди, припорошенный пылью, тускнел калач булочника на углу, а еще дальше сквозь чахлую зелень виднелось здание острога. Аполлинария резко повернулась, взметнув слишком длинным треном вихрь пыли, и оказалась на Солдатской. Ненавистный дом был уже совсем близко.

Еще дай-то Бог, чтобы отца не оказалось дома – иначе начнутся эти попреки, сравнения с Надеждой[16] и неизбежный скандал. Аполлинария зашла со двора и проскользнула к себе. Девка с заспанными глазами лениво повернулась в ее сторону, словно собиралась что-то сказать, но дверь уже захлопнулась. Аполлинария нехотя подошла к зеркалу и скривилась. Волосы, недавно снова обрезанные, но уже не из-за нигилистической моды, а из лени делать прическу каждый день. Или нет, давай уж быть честной до конца: из-за того, что не перед кем распускать их и душить шелковыми прядями. Она небрежно переткнула нарочно простой гребень и пнула коробки со шляпками. Пирамида упала, бесстыдно открыв пару картонок с европейским шиком трехлетней давности.

– Ненавижу, – прошептали узкие, недобрые, но по-прежнему манящие губы.

Аполлинария тревожно наклонилась ближе к зеркалу и отшатнулась: тоненькая морщинка предательски пересекала щеку с левой стороны рта. Несколько секунд она внимательно всматривалась в нее, а потом громко расхохоталась. Ах, как целовал бы эту морщинку он и с каким пылом уверял, что именно в ней-то и заключается вся ее красота – и все его счастье! Отсмеявшись, она с ненавистью отшвырнула зеркало, и оно тоже, как во сне, бесшумно скользнуло на пол, рассыпавшись колющими глаза осколками.

– Да откройте же, барышня! – услышала она наконец голос Фени, вероятно потерявшей всякое терпение. – Стучу, стучу, кричу, кричу…

– Отец дома? – холодно поинтересовалась Аполлинария.

– Прокопий Григорьич в Кунавино с утра изволили уехать.

– Хорошо. Чего тебе?

– Да письмо, барышня. Семен еще с утра принес.

---

[16] *Надежда* – Суслова Надежда Прокофьевна (1843–1918), младшая сестра Аполлинарии, доктор медицины, первая в России женщина-врач.

– Мне?!

– Известное дело, кому же?

На какое-то неуловимое мгновение Аполлинарии захотелось крикнуть Фене, чтобы она выкинула это неизвестно откуда взявшееся письмо, но она быстро взяла себя в руки.

– Под дверь просунь.

Конверт, уже тоже почему-то пыльный и мятый, вполз в комнату бесхребетной гадиной. Дрожь омерзения и ужаса охватила Аполлинарию, но она назло себе резко нагнулась и, не глядя на адрес, надорвала бумагу.

«Письмо твое, милый друг мой…»

Может быть, не читать? Опять эта мелочность, эта униженность, просьбы о каких-нибудь ста пятидесяти гульденах, «только никому не говори и не показывай»… Она все-таки глянула на конверт. Ах. Дрезден! Ну, значит, действительно опять деньги. Он что, не понимает, что наличие богатого отца еще не означает наличия денег у нее? Да и сколько же можно?!

Аполлинария почти механически снова пробежала взглядом по строчкам.

«Стало быть, милая, ты ничего не знаешь обо мне…» И знать не хочу. Что может быть нового? *«Стенографка моя…»*[17] Значит, деньги на стенографку у него все-таки есть, очень мило! *«…с добрым и ясным характером…»* Да уж, теперь он всю жизнь в любой женщине будет цепляться за доброту и теперь нарочно пишет о чьей-то доброте ей, как будто бы не он сам, не своими руками…

«Она согласилась, и вот мы обвенчаны…»

Письмо полетело на пол, к зеркальным осколкам. Значит, на доброте женился! На пресной, убогой доброте, которая наверняка и добра-то лишь потому, что ни на что большее не способна!

– О, будь же ты проклят! – вырвалось из стиснутых губ, и морщинка слева стала еще явственней. Сразу стало жарко и нечем дышать. Аполлинария подошла к окну, отворила его. Пыль продолжала плясать свой мертвящий танец, а со стороны Ошары бежала какая-то толстая баба и голосила на всю улицу:

– Ой, батюшки, на Черном-то пруду! Ах, матушка царица небесная!

К ней присоединялись еще какие-то бабы и мужики. Они размахивали руками и топали ногами, окутываясь пылью.

– Как есть, православные, утонула! И с сумочкой! А молоденька-то, молоденька!

На секунду перед Аполлинарией мелькнуло кругловатое юное лицо, но темная вода Черного пруда тут же закрыла его, и Аполлинария медленно осела на подоконник.

[17] *«Стенографка моя»* – имеется в виду Анна Григорьевна Сниткина (Достоевская), вторая жена Федора Михайловича.

Глава 3. Центральный парк культуры и отдыха

Серенький старый «опель», купленный специально за неприметный мышиный цвет, сиротливо жался напротив парадной, в которой скрылся несчастный комиссароубийца. Впрочем, кто-то осмеливается утверждать, что этот несчастный поэт свернул в переулок. Данила быстро занял место за рулем, отсоединил блокировку руля, включил стартер и, сразу дав газ, помчался к мосту, где фонарные столбы в предрассветной дымке смотрелись жутковатыми крестами для распятья, а сам мост – Аппиевой дорогой[18].

– Ну что, хлыстовская богородица[19], кто кого? – вдруг неуместно вырвалось у него, когда он вылетел на самый верх моста, с которого открывалась панорама, какой не дано больше ни одному городу в мире.

Вскоре машина понеслась по мертвому Каменноостровскому проспекту, и Данила немного успокоился, хотя это понятие не работало никак, когда речь шла о деле, подобном тому, из-за которого он сейчас мчался в парк. Успокоение было не его стихией.

Разумеется, закончивший филфак и считавший историю своей настоящей жизнью, Данила не мог не знать о роковой любовнице Достоевского. Но поскольку ему всегда ближе было мировоззрение Толстого с его олимпийским гедонизмом, он равнодушно прошел мимо Сусловой, как проходил мимо Ризнич[20], Панаевой[21], Симон-Деманш[22] и тому подобных дам. Однако, перебравшись в дом Штакеншнейдера и посвятив немало времени его семье, он наткнулся в дневниках своей любимой Елены Андреевны на короткую, но на удивление емкую характеристику этой девицы. Вернее, сперва его поразила не сама характеристика, а то, что стояло за ней, в общественном, так сказать, смысле. Данила, несмотря на свою внешне беспорядочную и даже во многом непорядочную жизнь, обладал если не блестящим умом, то, во всяком случае, острым ощущением времени, что порой бывает полезней многого другого. И, глядя с чуть отстраненным любопытством на эту «расшатавшуюся» неприкаянную молодежь, он каждый раз убеждался в правоте Елены Андреевны: *«Она забыла, что желание учиться еще не ученость, что сила воли, сбросившая предрассудки, вдруг ничего не дает… Она – Чацкий, не имеющий соображения»*.

Прочитав эти строки, Данила, со свойственной ему способностью увлекаться, полез дальше, пытаясь там, среди этих закусивших удила девиц стапятидесятилетней давности, разгадать нынешних, тоже, видимо, окончательно потерявших ориентиры и спутавших понятия.

И тогда в хаосе внутренних страхов и неуверенности, в бреду отроческой бравады вдруг стала, как на фотобумаге в кювете, проявляться перед ним эта страдающая максималистка, эта гордая барышня, которым с их призрачной жизнью места в жизни реальной на самом деле не оставалось. Данила пришел в себя только тогда, когда было уже поздно – он, тогда еще тридцатилетний, циничный и замкнутый мужик, стал очередной жертвой в длинном ряду «наследников» романиста. Суслова манила, обманывала, жгла и не давалась в руки. Как из простоватой девочки с круглым лицом и яблочными щеками получилась инфернальница, то дружившая с

---

[18] *Аппиева дорога* – первая мощеная дорога между Римом и Капуей, где были распяты на крестах участники восстания Спартака.

[19] *«Хлыстовская богородица»* – отсылка к В. В. Розанову, в письмах не раз называвшему Суслову «хлыстовской богородицей поморского полка».

[20] *Ризнич* Амалия – авантюристка, возлюбленная Пушкина, которой посвящено его стихотворение «Для берегов отчизны дальней».

[21] *Панаева* Авдотья Яковлевна – актриса, жена русского писателя Панаева, затем гражданская жена Некрасова; в нее были влюблены Достоевский, Добролюбов, Дюма-отец и другие писатели.

[22] *Симон-Деманш* Луиза – любовница русского писателя А. В. Сухово-Кобылина, который был обвинен в ее убийстве.

Огаревым[23], то становившаяся товарищем председателя «Союза Русского народа»?[24] Как? И почему?

Он ездил в ЦГАЛИ, протирал штаны в заштатных архивах Ельца, Брянска, Иванова, Лебедяни, Калуги. Он бродил по Нижнему Новгороду, спускаясь и поднимаясь по непривычным для петербуржца съездам, где она когда-то мела тротуары черными юбками и огненным пальто. Он смотрел на окна пешеходной Покровки[25], заглядывал в ворота старинного дома на Солдатской[26], где она жила какое-то время с отцом, открыто именовавшим ее врагом рода человеческого, и порой просиживал летние ночи перед домами бывшей столицы, в которых могла таиться разгадка фантастической души. Но все было впустую, факты ложились мертвым грузом, озарение не посещало.

Впрочем, профессия приучила Данилу к охотничьему терпению, и он мог, как легавая, годами ждать, затаившись. Когда надоедали активные поиски, он углублялся то в графологический анализ, то в текстологический, а то и просто разглядывал немногие сохранившиеся фотографии, от провинциальной простушки в платье с нелепыми пуговками до знающей себе цену пожилой дамы с поджатыми губами.

Читал он и ее письма, вернее те два оставшихся черновика, которыми располагало ныне достоевсковедение[27], хотя это всегда оставляло у Данилы неприятный осадок, словно он копался в неостывшем трупе. Знал и про две тетради, дешевую черную и дорогую бордовую, где она делала свои записи, но все факты выглядели как-то формально, а он жаждал настоящего биения крови в висках и пожара души. К самому же писателю после всех своих поисков он потерял интерес окончательно – по мнению Данилы, тот оказался не на высоте.

Словом, загадка Сусловой стала для Данилы третьей стороной его и так непростого существования, стороной не дневной, не ночной, а предрассветной, когда одно время суток неуловимо переходит в другое и на мгновение застывает, придавая всему вокруг иные очертания и иные смыслы. Он любил эту сторону, это пятое время года, он отдыхал в нем от современности, он лечил там раны своего чудовищного детства, он уползал туда, как в нору.

И вот сейчас он несся по Батарейной дороге[28] именно в это время и снова верил во что-то, во что невозможно верить ни ясным днем, ни темною ночью.

У моста нагретое за день дерево отдавало воздуху свое последнее, чуть пахнущее смолой тепло.

– Сорок рублей, – невозмутимо остановил его охранник.

Данила сунулся по карманам и не обнаружил ничего. Черт! То ли вчера спустил все до последнего рублика, то ли утром обронил, одеваясь. Порой бытовые мелочи жестоко мстят за невнимание к себе…

– Слушай, парень, половина шестого. Ты бы спал себе спокойно…

– Сорок рублей. – Мерзкое существо избоченилось, поигрывая плечами.

«Вот уж воистину у нас каждый железнодорожный служащий мнит себя не меньше чем министром и явно получает истинно садическое наслаждение от унижения того, кому он и в подметки не годится», – вздохнул Данила и сменил тактику.

– Ну, шеф, мне очень надо, дела. Сегодня же привезу тебе хоть двести…

– Сорок рублей.

---

[23] *Огарев* Николай Платонович – русский революционер, поэт, встречался с Сусловой за границей.

[24] *«Союз Русского Народа»* – черносотенная организация в 1905–1917 годах. Суслова возглавляла Севастопольскую организацию Союза.

[25] *Покровка* – Покровская улица, главная пешеходная улица в центре Нижнего Новгорода.

[26] *Солдатская* – улица в Нижнем Новгороде, на которой отец Сусловой имел свой дом.

[27] Сохранившиеся черновики двух писем А. П. Сусловой – Ф. М. Достоевскому и три письма ей см. Приложение 2.

[28] * Батарейная дорога – Морской пр.

Данила внимательно пригляделся к охраннику, оценивая пределы его жадности и следования инструкции, махнул рукой и вытянул из кармана роскошные лайковые перчатки, в которых всегда работал с антикварным добром. Перчатки были швейцарские, заказные, сидели как вторая кожа и стоили под пятьсот долларов.

– Бери. Таких нигде больше не найдешь, индивидуальный заказ.

Скотина придирчиво повертела лайку в руках, бросила к себе в конуру и небрежно махнула за турникет.

Коротко выругавшись, благо рядом не было Елены Андреевны, Данила скачками понесся по мосту. Солнце уже показалось над правыми перилами, бросая на доски пока неуверенные тени, но аллеи лежали еще в мерцающей дымке. Он прыгнул в нее, как в воду, и, сбавив шаг, пошел крадучись, не упуская ни мусора около урн, ни сломанных веток, ни примятой травы у дорожки. Он дошел до игрушечного мостика, остановился, облокотившись на перила, и посмотрел на заблестевший розовым пруд. Грязные водоросли зашевелились, поплыли окурки и обертки, с перил посыпалась ржавчина – вышедшее солнце уверенно раскрашивало окружающую жизнь в реальные тона. Данила по-мальчишески далеко и смачно плюнул в воду и громко расхохотался.

– Вот что значит не дать доспать после пьянки! – Сколотый зуб слева весело вспыхнул под пробившимся сквозь листья лучом. – Вот так фам-фаталь[29]! – Смех разбирал его все сильнее. – Надрали, как первоклашку… Интересно, какой сволочи пришло это в голову? – сменил он направление мысли.

Данила, помимо природной замкнутости и требований профессии, о своих профессионально интимных пристрастиях не рассказывал никому – да и кому бы в его кругу могли они быть интересны? Их денежный эквивалент – безусловно, но страдания непонятой души? Нет, что-то здесь провисает… Надо расслабиться, дать мыслям и ощущениям течь по их собственной воле, и тогда, как вода в запруде всегда так или иначе находит выход, верный ответ тоже найдется сам собой.

Он тряхнул головой и замурлыкал, подсвистывая:

Меня дьявол одолел,
На монахиню я сел,
Тра-та-та, та-та, та…

Окурки в пруду, равно как и мысли в мозгу, поплыли в том же ритме, упорядочив ряды, – это была старая гусарская уловка: чтобы помочь новобранцам запомнить бесконечно разнообразные сигналы трубачей, унтеры придумывали каждому сигналу дурацкий словесный эквивалент, и солдатики спокойно выполняли команды. Этому трюку Данилу еще в детстве научил древний дед из его коммуналки, успевший послужить в Сумском полку[30], и Данила с успехом пользовался этим нехитрым приемом всю жизнь. Главное – ничего не бояться, все получится само собой, по коням, ребята, и вперед, мы ни за что не отвечаем, только прекрасно умереть за веру, царя и отечество…

Так прошло несколько минут, но эскадрон скакал по унылому полю, противника не было, ничего не вытанцовывалось. Наоборот, становилось все яснее и яснее: некому и не с чего…

Данила намотал на кулак прядь своих черных волос, делавших его так похожим на индейца, и потянул до боли. Ничего. Никого. Но этот ледяной комок предвкушения? Дьявольщина! Или просто-напросто он опоздал?

---

[29] Femme fatale – роковая женщина *(фр.)*.

[30] *Сумской полк* – гусарский полк русской армии, известный с 1651 года, знаменитый своими интересными и своеобразными традициями.

Вдалеке на аллее от Стрелки раздались приглушенные звуки. Данила обернулся – вероятно, возвращалась загулявшая компания, хотя шла она подозрительно тихо. Опытному уху даже простые звуки говорят немало, и он, повернувшись в ту сторону, насторожился. Действительно, через пару минут у мостика появилось человек восемь, впереди всех шел интеллигентного вида парень в очках, несколько картинно неся на руках девушку.

Данила поморщился: зрелище было неприятное, потому что ноги девушки болтались как-то безжизненно, а длинные, явно мокрые волосы почти мели гравий.

«Догулялись, придурки!» – брезгливо подумал он и снова отвернулся к пруду, насвистывая намеренно равнодушно.

Но толпа вдруг заговорила громче и остановилась прямо за его спиной. «Только не поворачиваться, а то непременно влипнешь в какую-нибудь ерунду», – приказал он себе, но кто-то уже трогал его за плечо.

– Молодой человек, извините, ради бога, но вы, случайно, не на машине? – произнес едва ему не в ухо уверенный женский голос.

Данила весьма невежливо сбросил с плеча руку и, повернув только голову, увидел девушку с неправильным, но интересным лицом.

– Свою надо иметь, – буркнул он.

– Непременно последую вашему совету, – ничуть не смутившись, ответила она, – но поскольку в течение получаса это никак невозможно, а на большее у нас времени нет… Видите, одна наша… – она почему-то запнулась, – приятельница решила что-то доказать судьбе или себе, уж не знаю, и кончилось это плачевно. – Речь для подобной ситуации была странная, и Данила невольно повернулся к стоявшей рядом с ним компании лицом. Лежавшая на руках у парня девица действительно была мокрой с головы до ног и даже кое-где облеплена бурыми водорослями.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.